

# Содержание

Пролог. <b>Мы</b> .....	11
Часть первая. <b>Я</b> .....	17
Часть вторая. <b>И я</b> .....	115
Часть третья. <b>Мoi</b> .....	205
Часть четвертая. <b>Vous</b> .....	289
Эпилог. <b>Tu</b> .....	399
<i>Благодарности</i> .....	409
<i>Копирайты</i> .....	413

*Посвящается Симоне*

*Ничего нет реальнее ничего.*

Ритхи Пань, Кристоф Батай  
“Уничтожение. История человека,  
который пережил режим красных кхмеров  
и встретился лицом к лицу со своим прошлым  
и с надзирателем полей смерти”

# Пролог

## Мы

**М**ы были нежеланными, ненужными, незаметными — невидимками для всех, кроме нас самих. Ничтожнее ничего, и, ничего не видя, мы слепо теснились в темном чреве нашего ковчега, сто пятьдесят потеющих в пространстве, предназначенном не для млекопитающих, а для рыб морских. Пока волны швыряли нас из стороны в сторону, мы говорили на своих наречиях — то есть одни молились, другие сыпали проклятиями. Когда волны, переменяв свое движение, затрясли наше судно еще сильнее, один затесавшийся среди нас моряк шепнул: *теперь мы в океане*. Провертевшись множество часов по реке, эстуарию и протокам, мы покинули родину.

Штурман отпер крышку люка и позвал нас на палубу ковчега, который равнодушный мир низвел бы до обычной лодки. Кривая ухмылка месяца показала нам, что мы одни среди этого водного мира. На мгновение взгляды наши помутились от радости, пока от океанского волнения у нас не помутилось кое-что другое. Нас выворачивало наизнанку — на палубу и друг на друга, и даже после того, как в нас ничего не осталось, мы все продолжали задыхаться и срыгивать, и нам было тошно от нашей тошноты. Так мы провели первую ночь в открытом море, дрожа от океанского бриза.

Занялась заря, и со всех сторон мы видели лишь бесконечно удаляющийся горизонт. День выдался жарким —

ни тени, ни отдыха, еды было по куску, воды по глотку, конец нашего пути неизвестен, припасы ограничены. Но, съев даже такую малость, мы все равно оставили свой человеческий след по всей палубе и к вечеру утопали в собственной скверне. В сумерках мы заметили на горизонте корабль и сорвали голоса от крика. Но корабль так и не приблизился.

На третий день нам повстречалось грузовое судно, рассевшее пустынную водную ширь, дромадер с возвышавшимся над кормой мостиком, с моряками на палубе. Мы кричали, прыгали, махали руками. Но судно проплыло мимо, задев нас лишь волновым следом. На четвертый и на пятый день появились еще два грузовых судна, каждое ближе прежнего, каждое — под новым флагом. Моряки показывали на нас пальцами, но сколько бы мы ни просили, сколько ни умоляли, поднимая повыше детей, корабли не замедлили хода и не изменили курса.

На пятый день умер первый ребенок, и прежде чем мы отдали ее тело волнам, священник прочел молитву. На шестой день умер мальчик. Одни стали молиться Богу еще усерднее, другие же усомнились в Его существовании, одни, не верившие в Него, уверовали, другие же неверившие разуверились еще сильнее. Отец умершего ребенка возопил: Господи, почему Ты так с нами поступаешь?

И тогда мы постигли ответ на это вечное “почему?”, которым задается все человечество.

Ответ, и был, и есть, очень прост: *а почему нет-то?*

Прежде чем взойти на борт нашего ковчега, мы были незнакомцами, но теперь стали друг другу ближе возлюбленных, мы все барахтались в собственных же отходах — с зелеными лицами, с кожей, изъеденной солью и прожаренной солнцем до одинаковой корочки. Почти все мы покинули родину потому, что пришедшие к власти коммунисты нарекли нас марионетками, или псевдопацифистами, или буржуазными националистами, или декадентствующими реакционерами, или идеологами ложного сознания, или потому, что с кем-то из вышеперечисленных мы состояли в родстве. Еще

с нами были гадалка, геомант, монах, священник и по крайней мере одна проститутка, которую оплевал ее сосед-китаец, приговаривая: *а эта шлюха почему с нами?*

Нежелательные есть даже среди нежелательных, и некоторые из нас могли над этим лишь посмеяться.

Нахмурившись, проститутка спросила: *чего надо?*

Мы, лишние люди, были столького лишены. Нам надо было поесть, попить и раскрыть над головой зонтик от солнца, хотя и обычный зонт сойдет тоже. Нам надо было одеться, помыться в ванной и сходить в туалет, пусть и в такой, где надо корячиться над дыркой, потому что корячиться на земле куда безопаснее и не так позорно, как цепляясь за край раскачивающейся лодки и свесив тыл за борт. Нам надо было дождя, туч и дельфинов. Нам надо было, чтобы днем в жару было попрохладнее, а ночью, в лютый холод, — потеплее. Нам надо было примерно понимать, когда мы доплывем. Нам надо было прибить живыми. Нам надо было, чтобы беспощадное солнце перестало нас поджаривать. Нам надо было смотреть телевизор, кино, слушать музыку — все что угодно, чтобы время шло побыстрее. Нам надо было мира, любви и справедливости, но только не для наших врагов, которым надо было гореть в аду, желательно целую вечность. Нам надо было, чтобы все были независимы и свободны, кроме коммунистов, их всех следовало отправить на перевоспитание, желательно пожизненное. Нам надо было, чтобы великодушные вожди были представителями народа, под которым мы подразумевали нас, а не тех, других, кем бы они ни были. Нам надо было, чтобы у всех были равные возможности, хотя, если так выйдет, что нам достанется больше, чем соседу, мы это как-нибудь переживем. Нам надо было, чтобы новая революция отменила революцию, которую нам пришлось пережить. В общем, нам надо было жить так, чтобы нам больше ничего не было надо!

А вот чего нам точно совсем не было надо, так это бури, но именно ее мы получили на седьмой день. И верующие снова возопили: Господи, помоги! А неверующие закричали: ну и сволочь же ты, Господи! Но и верующим, и неверующим

было не избежать бури, накрывшей собой горизонт и подползавшей все ближе и ближе. Носившийся в исступлении ветер набирал силу, волны становились все выше, а с ними и наш ковчег набирал скорость и высоту. Молния осветила темные складки штормовых туч, и гром заглушил наш коллективный стон. Потоки дождя низверглись на нас, и пока волны вздымали наш ковчег все выше и выше, верующие молились, неверующие чертыхались, но и те и другие плакали. Затем наш ковчег достиг пика и на один бесконечный миг повис на заснеженном гребне над водною бездной. Глядя вниз, на ожидавшую нас глубокую, винноцветную долину, мы лишь две вещи знали наверняка. Первое — мы совершенно точно умрем! И второе — мы почти совершенно точно выживем!

Да, мы были в этом уверены. *Мы — останемся — в живых!*

И тут мы с воплями рухнули в бездну.

# Часть первая

# **Я**

# Глава 1

**М**ожет, я больше не предатель и не перебежчик, но я был и остаюсь падалью. А кто же я, если не падаль, с двумя-то дырками в голове, откуда капают черные чернила, которыми я это все пишу? Пре-странное это состояние — я мертв и все же пишу эти строки, сидя у себя в комнатухе, в “Райском саду”. Теперь я, выходит, прозаик-призрак, а раз так, то нет ничего проще и ничего прозаичнее, чем обмакнуть перо в чернила, текущие из двойных моих дырок — одну проделал я сам, другую Бон, мой лучший друг и кровный брат. Опустит пистолет, Бон. Убить меня дважды не получится.

Хотя, может, и получится. Я ведь был и остаюсь человеком с двумя лицами и двумя сознаниями, как знать, вдруг что-то одно и уцелело. С двумя-то сознаниями я на все гляжу с двух сторон, но если прежде я льстил себе, считая это талантом, то теперь я понял, что это — проклятие. Кто он, человек с двумя сознаниями, если не мутант? А то и монстр. Да, сознаюсь! Я не один, я двое. Не только я, но и ты. Это не только про меня, но и про нас.

Ты спросишь, как же нас теперь называть, ведь мы так долго пробыли безымянными. Сам не знаю, стоит ли говорить тебе правду, это ведь не в моих привычках. Я состою из дурных привычек, и едва меня отучат от какой-нибудь — я ни-

когда не расстаюсь с ними по собственному желанию, — как я тотчас же, распутив слезы и слюни, принимаюсь за старое.

Взять, например, вот эти слова. Я их пишу, а ведь нет привычки хуже писательства. Пока все остальные выжимают, что могут, из своей жизни, вкальвают ради зарплаты, набираются витамина D, греясь на солнышке, охотятся на себе подобных, чтобы размножиться или просто почпокаться, и отказываются думать о смерти, я сижу с пером и бумагой в своем райском уголке, чахну и бледнею, из ушей у меня валит пар отчаяния, и я обливаюсь потом печали.

Я могу сказать тебе, на какое имя у меня паспорт — ЗАНЬ ВО. Я взял это имя перед тем, как приехать сюда, в Париж, или, как нас учили его называть наши французские хозяева, Город Огней. Мы, Бон и я, прилетели в аэропорт ночью, рейсом из Джакарты. Из самолета мы выходили с чувством огромного облегчения, ведь мы добрались до убежища, до влажной мечты всех беженцев, тем более таких, которые были беженцами не единожды, не дважды, а трижды: в 1954-м, когда мне было девять, в 1975-м, когда я был молод и относительно красив, и в 1979-м, всего два года назад. Повезет ли нам на третий раз, как любят говорить американцы? Вздохнув, Бон нагнул на глаза выданную нам в самолете маску для сна. Давай просто надеяться, что Франция окажется лучше Америки.

Весьма опрометчивая надежда, если судить о стране по сотруddникам погранконтроля. Человек, изучавший мой паспорт, глядел то на мою фотографию, то на меня сквозь ничего не выражавшую маску охранника. Его бледное лицо перекошило оттого, что кто-то пустил меня, человека без верхней губы и усов, которые могли бы прикрыть ее отсутствие, в его любимую страну. Вы вьетнамец, сказал этот белый человек, — вот первое, что я услышал, впервые оказавшись на родине отца.

Да! Меня зовут Зань Во! Я одарил пограничника своим самым французским акцентом и самой льстивой улыбкой, втираюсь к нему в доверие буквально на терке. Но мой отец — француз. Может быть, тогда и я тоже француз?

Его бюрократический мозг обработал это заявление, и когда он наконец-то улыбнулся, я подумал: ага! Вот мне и удалось пошутить на французском! Но он ответил: нет... вы... точно... не... француз. С таким-то... именем. Затем он шлепнул мне в паспорт дату прибытия 18/07/81 и подтолкнул паспорт ко мне обратно, уже глядя через мое плечо на следующего в очереди.

Миновав паспортный контроль, мы встретились с Бонем. Наконец-то мы ступили на землю Галлии — так отец в приходской школе учил меня называть Францию. И кстати, как уместно, что аэропорт назван в честь Шарля де Голля, величайшего из великих французов, память о которых еще свежа. Герой, освободивший Францию от нацистов, не переставая при этом порабощать нас, вьетнамцев. Ох уж эти противоречия! Вечный запашок из подмышек человечества. От него никому не избавиться — ни даже американцам или вьетнамцам, которые моются ежедневно, ни французам, которые моются не очень ежедневно. Не важно, какой мы национальности, нам всем приходится привыкать к запаху собственных противоречий.

Что с тобой? — спросил Бон. Снова плачешь?

Я не плачу, всхлипнул я. Накатило просто, наконец-то я дома.

Бон уже привык к тому, что я могу расплакаться на пустом месте. Он вздохнул и взял меня за руку. В другой руке он держал свой багаж, дешевую спортивную сумку — подарок ООН. Не то что мой модный кожаный саквояж, который Клод, мой старый наставник, подарил мне в честь окончания Оксидентал-колледжа, что в Южной Калифорнии. Мой старик подарил мне точно такой же, когда я окончил Филипс-Экзетер и уехал учиться в Йель, сказал Клод, пустив слезу. Хоть он и был агентом ЦРУ и зарабатывал на жизнь допросами и убийствами, но ему случалось проявлять сентиментальность, когда речь шла о нашей дружбе или дорогих мужских аксессуарах. Все из-за той же ностальгии и я не расстался с этим кожаным саквояжем. Он был не очень большой,

меньше, чем сумка Бона, и все равно оставался полупустым. У нас, как и у большинства беженцев, почти не было вещей, даже если наши сумки и были под завязку набиты мечтами и фантазиями, травмами и болью, печалью и потерями и, разумеется, призраками. Призраки ведь ничего не весят, а значит, их с собой можно увезти бесчисленное количество.

Мы были единственными пассажирами в зоне выдачи багажа, не катившими за собой чемоданы, не толкавшими тележки, нагруженные сумками и туристическими ожиданиями. Мы не были ни туристами, ни экспатами, ни возвращенцами, ни дипломатами, ни бизнесменами, мы не принадлежали ни к одному классу приличных путешественников. Нет, мы были беженцами, и одного нашего перелета в машине времени под названием “международный лайнер” не хватило, чтобы заслонить собой тот год, что мы промаялись в исправительном лагере, или те два года, которые мы провели в лагере для беженцев на индонезийском острове Галанг. После лагерных свечей, грязи, бамбука и тростника нас сбивали с толку яркие огни, сталь, стекло и плитки аэропорта, и мы шагали медленно, наобум, врезаясь в других пассажиров в поисках выхода. Наконец мы его отыскали, перед нами разъехались двери, и мы оказались под высоченным потолком зоны международных прилетов, где нас с головы до ног оглядела толпа выжидающих лиц.

Меня окликнула какая-то женщина. Моя тетка, а точнее, женщина, которая притворялась моей теткой. Пока я был шпионом-коммунистом, внедренным в пожухлые ряды бежавшей в США южновьетнамской армии, я время от времени слал ей письма, в которых для виду жаловался на тяготы иммигрантской жизни, но на самом деле в этих письмах я невидимыми чернилами писал ей закодированные секретные сообщения о коварных происках некоторых элементов этой самой армии, надеявшихся спасти нашу родину от коммунистической власти. В качестве общего шифра мы использовали “Азиатский коммунизм и тягу к разрушению по-восточному” Ричарда Хедда, и ее задачей было передавать мои

сообщения Ману, нашему с Боном кровному брату. Я приветствовал ее с облегчением и тревогой, ведь она знала, что Бон не знал и никогда не должен был узнать о том, что Ман был шпионом — как и я. Он был моим куратором, и если в исправительном лагере он в конце концов и превратился в моего мучителя, что же меня, человека с двумя сознаниями, тут не устраивало? И если моя тетка не была мне по-настоящему теткой, ну не идеальная ли это ситуация для человека с двумя лицами?

На самом деле она приходилась теткой Ману и выглядела точно так, как она и описала себя в последнем письме: высокая, худая, с черными как смоль волосами. На этом заканчивалось ее сходство с выдуманным мной образом: женщины средних лет, сутулой от вечного сидения за швейной машинкой и рабски преданной делу революции. Ближайшей родней этой женщины — если судить по форме ее тела и по тому, что она не выпускала из рук, — была сигарета. Она источала дым и самоуверенность и, стоя на агрессивных высоких каблуках, была одного со мной роста, но казалась еще выше из-за своей худобы, серого вязаного платья по фигуре и конусообразной прически — ее форменный, ежедневный образ. Я знал, что ей уже за пятьдесят, но на вид ей можно было дать и около сорока, все благодаря французскому стилю и половине азиатских генов, из-за которых время было над ней не властно.

Ну и ну! Она схватила меня за плечи и, причмокнув губами, поочередно коснулась щеками моих щек — очаровательное французское приветствие, которого мне никогда не перепадало от французов на родине, в том числе и от моего француза-отца. Вам обоим нужна новая одежда. И новые стрижки!

Да, она точно была француженкой.

Я представил ее Бону по-французски, но он отвечал на вьетнамском. У него, как и у меня, было лицейское образование, но он ненавидел французов и сюда поехал только ради меня. Да, французы когда-то дали ему стипендию, но больше он от них ничего хорошего не видел — разве что